

Николай Добролюбов

Кобзарь Тараса Шевченка



Николай Александрович Добролюбов

Кобзарь Тараса Шевченка

«...Появление стихотворений Шевченка интересно не для одних только страстных приверженцев малороссийской литературы, но и для всякого любителя истинной поэзии. Его произведения интересуют нас совершенно независимо от старого спора о том, возможна ли малороссийская литература: спор этот относился к литературе книжной, общественной, цивилизованной, – как хотите называйте, – но во всяком случае к литературе искусственной, а стихотворения Шевченка именно тем и отличаются, что в них искусственного ничего нет...»

**Николай Александрович
Добролюбов
Кобзарь Тараса Шевченка**

*Коштом Платона Семеренка. СПб.
1860.*

Появление стихотворений Шевченка интересно не для одних только страстных приверженцев малороссийской литературы, но и для всякого любителя истинной поэзии. Его произведения интересуют нас совершенно независимо от старого спора о том, возможна ли малороссийская литература: спор этот относился к литературе книжной, общественной, цивилизованной, – как хотите называйте, – но во всяком случае к литературе искусственной, а стихотворения Шевченка именно тем и отличаются, что в них искусственного ничего нет. Конечно, по-малороссийски не выйдет хорошо «Онегин» или «Герой нашего времени», так же, как не выйдут статьи г. Безобразова об аристократии{1} или моральные статьи г-жи Тур о французском обществе{2}. Конечно, все эти статьи можно перевести и на малороссийский язык, но считать этот язык действительным малороссийским будет великое заблуждение. Те малороссы, которым доступно все, что занимает Онегина и г-жу Тур, говорят уже почти по-русски, усвоивши себе весь круг названий предметов, постепенно образовавшийся в русском языке цивили-

защитою высших классов общества. Настоящие же малороссы, свободные от влияния русско-го языка, так же чужды языку книжной литературы, как и наши простолюдины. Ведь и у нас язык литературы – собственно, не русский, и через сто лет над нами, конечно, будут так же смеяться, как мы теперь смеемся над языком *ассамблей* петровского времени. Но у нас бестолковая смесь пяти языков организовалась довольно скоро и составила то, что мы теперь называем языком образованного общества. Это оттого, во-первых, что нам уж решительно нечем было взяться: новые понятия и новые предметы врываются толпой, назвать их не умеем, да и около нас негде взять; а между тем название нужно во что бы то ни стало. Поневоле брали готовое или выдумывали, как попадетсЯ. Во-вторых, книжные понятия и слова, хотя и не прошли в народ, но все-таки захватили у нас довольно значительную часть общества и проникли в законодательство. В Малороссии эта масса общества, занятого литературным языком, несравненно меньше, да нет им и такой нужды перевертывать на свой лад каждое назва-

ние вновь являющегося у них предмета: они получают эти названия не из какого-нибудь латинского языка, – где уж как ни бейся, а надобно «us» отбросить и дать слову свое склонение, – а из языка родственного, имеющего почти те же формы. Таким образом, слова, принятые в русском, целиком входят в малороссийский язык, и случается встречать такие малороссийские статьи, в которых почти только *що, аж, бо, чи* и тому подобные частицы и напоминают об особенностях наречия.

Но само собою разумеется, что никто не откажет малороссийскому, как всякому другому, народу в праве и способности говорить своим языком о предметах своих нужд, стремлений и воспоминаний, никто не откажется признать народную поэзию Малороссии. И к этой-то поэзии должны быть отнесены стихотворения Шевченка. Он – поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченка, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совер-

шенном соответствии со смыслом и строим народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан. Был он и в кругу образованного общества, малорусского и великорусского, но долгое время встречал в нем лишь отталкивающую презрительную грубость, притеснения, насилия, несправедливость, и зато, при первых же лучах нравственного, свободного сознания, тем сильнее устремился он душою к своей бедной родине, припоминая ее сказания, повторяя ее песни, представляя себе ее жизнь и природу. Что вытерпел Шевченко в юных летах и на чем воспитывался ум и талант его, об этом он сам рассказал недавно в письме к одному из редакторов «Народного чтения»^{3} (Нар. чт., 1860 г., кн. II, стр. 229–236). Мы решаемся привести почти все это письмо, полагая, что рассказы о судьбе людей, подобных Шевченку, должны получать самую широкую известность в нашей публике. Вот рассказ Шевченка:

Я – сын крепостного крестьянина, Григория Шевченка. Родился в 1814 году,

февраля 25, в селе Кириловке, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в имени одного помещика. Лишившись отца и матери на осьмом году жизни, приютился я в школе у приходского дьячка, в виде школяра-попихача. Эти школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам. Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ; они – полные рабы его. Все домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня дьячок, заметьте, горький пьяница, и что я должен был исполнять с рабской покорностью, не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжелой жизни в так называемой школе прошел я Граматку, Часловець и, наконец, псалтырь. Под конец моего школьного курса дьячок посылал меня

читать, вместо себя, псалтырь по усопших крепостных душах и благоволил платить мне за то десятую копейку, в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию, вместе с своим другом Ионою Лимарем, так что, по возвращении от молитвословного подвига, я почти всегда находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мной одним, но и с другими, и мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще окончивают выведенные из терпения беззащит-

ные люди, – мезтью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги, и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы-дьячка драгоценнейшей вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с кунштиками, то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом, или не устоял против искушения – похитить эту драгоценность и ночью бежал в местечко Лысянку. Там я нашел себе нового учителя в особе маляра-дьякона, который, как я вскоре убедился, очень мало отличался своими правилами и обычаями от моего первого наставника. Три дня я терпеливо таскал на гору ведрами воду из речки Тикача и растирал на железном листе краску медянку. На четвертый день терпенье мне изменило, и я бежал в село Тарасовку к дьячку-маляру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина. К сему-то Апеллесу обратился я, с твердою решимостью пере-

нести все испытания, как думал я тогда, неразлучные со всякою наукою. Усвоить себе его великое искусство, хоть в самой малой степени, желал я страстно. Но – уввы! – Апеллес посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он объявил мне, к моему крайнему огорчению, что во мне нет способности ни к чему, ни даже к шевству или бондарству. Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пастырем стад непорочным» с тем, чтобы, хотя за громадскою ватагою, читать свою любезную краденую книжку с кунштиками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и, наконец, – в комнат-

ные козачки.

Изобретение комнатных козачков принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины – полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них козачков, как выдумку, неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать козака ручным с самого детства, – это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстрого оленя... Польские помещики былого времени содержали козачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Козачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались перед панами, как говорят поляки, сюды-туды-навприсюды. Новейшие представители вельможной шляхты, с чувством просвещенной гордости, называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки. Мой помещик, в качестве русского немца, смотрел на козачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на

свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне продерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который – признаюсь в этом без всякой совести – украл у конторщика. Барин мой был человек деятельный: он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собою в обозе меня, для сиденья в передней, подавань трубки и тому подобных надобностей. Нельзя сказать, чтоб я тяготился своим тогдашним положением: оно только теперь приводит меня в ужас и кажется мне каким-то диким и несвязным сном. Вероятно, многие из русского народа посмотрят когда-то по-моему на свое прошедшее. Странствуя с своим баринном с одного постоялого двора на дру-

гой, я пользовался всяким удобным случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе таким образом драгоценную коллекцию. Особенными моими любимцами были исторические герои, как-то: Соловей-разбойник, Кульнев, Кутузов, козак Платов и другие. Впрочем, не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое желание срисовать с них как только возможно верные копии.

Однажды, во время пребывания нашего в Вильно, в 1829 году, декабря 6, пан и пани уехали на бал в так называемые ресурсы (дворянское собрание), по случаю тезоименитства в бозе почившего императора Николая Павловича. В доме все успокоилось, уснуло. Я зажег свечку в уединенной комнате, развернул свои краденые сокровища и, выбрав из них козака Платова, принялся с благоговением копировать. Время летело для меня незаметно. Уже я добрался до маленьких козачков, гарцующих около дюжих копыт генеральского коня, как позади меня отворилась дверь, и вошел мой помещик, возвратившийся с бала. Он с остервенением выдрал

меня за уши и надавал пощечин – не за мое искусство, нет! (на искусство он не обратил внимания), – а за то, что я мог бы сжечь не только дом, но и город. На другой день он велел кучеру Сидорке выпороть меня хорошенько, что и было исполнено с достождождным усердием.

В 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет, и так как надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, контрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге. Ширяев соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьячка-хиромантика; но, несмотря на весь гнет тройственнoго его гения, я, в светлые весенние ночи, бегал в Летний сад рисовать со статуй, украшающих сие прямолинейное создание Петра. В один из таких сеансов познакомился я с художником Иваном Максимовичем Сошенко, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних братских отношениях.

По совету Сошенка, я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных, грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг, козак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра.

В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств, В. И. Григоровичу, с просьбою – освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вильгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этой ценою

куплена была моя свобода, в 1838 году, апреля 22.

С того же дня начал я посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника. О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещицкой передней, на постоялых дворах и в городских квартирах; но, когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада Причинна. Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рас-

сказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы своими усилиями – не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор – крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!

Итак, вот какие впечатления ложились на душу юноши за пределом простой жизни «под убогою батьковской стрехою»; вот что встретил он «в школе, в помещичьей передней, на постоянных дворах и в городских квартирах»... Подобные впечатления способны были убить юную душу, развратить все нравственные силы, загубить и затоптать человека. Но, видно, богато был одарен душевными силами этот мальчик, что он вышел, хоть и не совсем, может быть, невредимо из всего этого. А если уж вышел, то он не мог не обратиться к своей Украине, не мог не посвятить

всего себя тому, что веяло на него святыней чистого воспоминания, что освежало и согревало его в самые трудные и темные минуты жизни... И он остался верен своим первоначальным дням, верен своей Украине. Он поет предания ее прошлой жизни, поет ее настоящее – не в тех кругах, которые наслаждаются плодами новейшей русской цивилизации, а в тех, где сохранилась безыскусственная простота жизни и близость к природе. Оттого-то он так близок к малороссийским думам и песням, оттого-то в нем так и слышно веяние народности. Он смело мог сказать о своих думах:

*Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас, —
Де ж мені вас діти?
В Україну ідіть, діти,
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я – тут загину.
Там знайдете щире серце
І слово ласкаве,
Там знайдете щиру правду,
А ще, може, й славу...*

*Привітай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних
Як свою дитину{4}.*

И мы не сомневаемся, что Украина с восторгом примет «Кобзаря», давно уж ей, впрочем, знакомого. Он близок к народной песне, а известно, что в песне вылилась вся прошедшая судьба, весь настоящий характер Украины; песня и дума составляют там народную святыню, лучшее достояние украинской жизни. В них горит любовь к родине, блещет слава прошедших подвигов; в них дышит и чистое, нежное чувство женской любви, особенно любви материнской; в них же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляет козака, свободного от битвы, «искать свою долю». Весь круг жизненных, насущных интересов охватывается в песне, сливается с нею, и без нее сама жизнь делается невозможною. По словам Шевченка, —

*Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине:
От де, люди, наша слава,
Слава України!*

*Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово{5}.*

У Шевченка мы находим все элементы украинской народной песни. Ее исторические судьбы внушили ему целую поэму «Гайдамаки»{6}, чудно разнообразную, живую, полную силы и совершенно верную народному характеру или по крайней мере характеру малороссийских исторических дум. Поэт совершенно проникается настроением эпохи, и только в лирических отступлениях виден современный рассказчик. Он не отступил, например, пред изображением того случая, как гайдамацкий герой Гонта убивает своих малолетних детей, узнав, что их сделали католиками в иезуитском коллегиуме; он долго останавливается над этим эпизодом и с любовью рисует подробности и последствия убийства. Не отступил он и пред изображением произведенных гайдамаками ужасов в главе «Бенкет у Лисянці»; не отступил и пред трудною задачею воспроизвести народные сцены в Чигирине (в главе: «Свято в Чигирині»). Много на-

до поэтической силы, чтобы приняться за такие предметы и не изменить им ни одним стихом, не внести своего, современного воззрения ни в одном намеке. А Шевченко именно выполнил свое дело так, что во всей поэме сохранено полное единство и совершенная верность характеру козацких восстаний на ляхов, сохранившемся почти неизменным до довольно позднего времени. Сила козацкой ненависти к ляхам выражается у Шевченко в восклицании козака Яремы, у которого похитили они невесту. «Отчего не умер я вчера, еще не зная об этом, – говорит он. – А теперь если и умру, так все равно – из гроба встану для того, чтобы мучить ляхов».

Но в лирических отступлениях, как сказали мы, является пред нами современный поэт, любящий славу родимого края и с грустной отрадой припоминающий подвиги отважных предков. Приведем одно из таких отступлений, которое особенно поразило нас своею глубокою грустью[1]:

*Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами*

Текла, червоніла.
Текла – текла, та й висохла...
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто і'х не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
Тільки вітер тихесенько
Повіє над ними,
Тільки роса ранесенько
Сльозами дрібними
Іх умие. Зійде сонце,
Осушить, пригріє;
А онуки? І м байдуже,
Жито собі сіють{7}.
Багато іх, а хто скаже,
Де Гонти могила, —
Мученика праведного
Де похоронили?
Де Залізняк, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко! важко!..

Кроме «Гайдамаков», в «Кобзарі» напечатані ще «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гамалія» – невеликі п'єси теж історичне-

ско-козацкого содержания.

Не менее любопытны пьесы и в другом роде, пьесы, изображающие *лихо и недолго* обыкновенной жизни и нежные чувства девической и материнской любви. Особенно живо и поэтично изображаются эти чувства в трех прелестных поэмах: «Тополя», «Наймичка» и «Катерина». В «Катерине» вы видите несчастье бедной девушки, которая полюбила *москаля*, офицера. Начинается поэма добродушным обращением:

*Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине.*

Но эта откровенная, простая мораль, так добросердечно высказываемая, вовсе не кладет дидактического оттенка на всю повесть, которая, напротив, вся исполнена самой свежей неподдельной поэзии. У Катерины родился сын, и она идет в «Московщину» – отыс-

кивать отца его. Прощание матери с ней, ее путь, ее встреча с милым, который ее отталкивает, все это изображено с тою нежностью грусти, с тою глубиною и кротостью сердечного сожаления, равные которым встречаются именно только в малороссийских песнях. В «Наймичке» представляется история девушки, подкинувшей своего ребенка к бездетным старикам, потом нанявшейся к ним в служанки, всю свою жизнь заключившей в материнской любви и только пред смертью открывшей сыну, что она – мать его. Весь этот рассказ получает особенную прелесть от той совершенной простоты, с которою изображается все дело. Ни одного фразистого места, ни одного хвастливого стиха; все так ровно, спокойно, как будто покорная, тихая преданность этой матери перешла в душу самого поэта...

Вообще спокойная грусть, не похожая ни на бесплодную тоску наших романических героев, ни на горькое отчаяние, заливаемое часто разгулом, но тем не менее тяжелая и сжимающая сердце, составляет постоянный элемент стихотворений Шевченка. Как вообще в

малороссийской поэзии, грусть эта имеет созерцательный характер, переходит часто в вопрос, в думу. Но это не рефлексия, это движение не головное, а прямо выливающееся из сердца. Оттого оно не охлаждает теплоты чувства, не ослабляет его, а только делает его сознательнее, яснее, – и оттого, конечно, еще тяжелее. Вот *размышление* поэта по поводу оскорблений, которых натерпелась в селе Катерина, родивши сына:

*Отакє-то на сім світі
Роблять людям люди!
Того в'яжуть, того ріжуть,
Той сам себе губить...
А за віщо? Святий знає!
Світ, бачся, широкий,
Та нема де прихилитись
В світі одиноким.*

*Тому доля запродала
Од краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховують.
Де ж ті люди, де ж ті добрі,
Що серце збиралось
З ними жити, їх любити?
Пропали, пропали!*

В таком роде постоянно бывают думы поэта. Мы не берем на себя оценки и указания всех поэтических достоинств Шевченка; мы указываем только на некоторые стороны его произведений, могущие и в великоруссах, мало знакомых с Малороссией, как мы, пробудить сочувствие. Поэтому мы и берем более общие вещи, такие мысли и чувства, которые, будучи народно-украинскими, понятны и близки, однако, всякому, кто не совсем извратил в себе лучшие человеческие инстинкты. Думаем, что маленькие различия малороссийского наречия от русского не помешали читателям понять наши выписки{8}.

Сноски

1

Мы приводим все стихи в подлиннике; они, кажется, так понятны, что нет надобности переводить их. Заметим только, что по орфографии, принятой в книге Шевченка и сохраненной нами, *i* – есть острое наше *и*, а *и* – тот средний звук между *и* и *ы*, который так характеризует малороссийское наречие.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Имеются в виду статьи В. Безобразова, печатавшиеся в 1858 г. в «Русском вестнике»: «Материалы для физиологии общества в Германии» и др.

[^^^]

2

Речь идет о «Парижских письмах» Е. Тур («Русский вестник», 1858).

[^^^]

В первой половине января 1860 г. Т. Г. Шевченко, по просьбе редактора петербургского журнала «Народное чтение» А. А. Оболенского, написал свою автобиографию.

В автобиографии, написанной поэтом от третьего лица, говорилось об аресте его в 1847 г., о том, что «без суда и следствия их разослали в разные крепости», о «строжайшем запрещении писать и рисовать». Автобиография заканчивалась словами: «После двухлетних проволочек цензурный комитет разрешил ему напечатать только те из своих сочинений, которые были напечатаны до 1847 г., вычеркнув из них десятки страниц (прогресс!)».

В таком виде автобиография не могла появиться в журнале – она была опубликована в другой редакции, после исправлений, сделанных П. Кулишем; Добролюбов цитирует автобиографию по журнальному варианту.

«Народное чтение» – журнал, близкий к демократическому направлению, издавался в Петербурге в 1858–1862 гг.

[^^^]

4

Стихотворение «Думи мої, думи мої...» (1839).
И здесь и ниже тексты даются по современной орфографии.

[^^^]

5

Из стихотворения «До Основьяненки» (1839).

[^^^]

6

Поэма «Гайдамаки» вышла отдельным изданием в 1841 г. в Петербурге. В «Современнике» в 1861 г. (кн. V): она была напечатана в переводе П. Гайдебурова.

[^^^]

7

Добролюбов цитирует подцензурный текст. В подлиннике: «панам жито сдать».

[^^^]

В «Современнике» после этих слов шла приписка, очевидно редакционного характера, предварявшая публикацию стихотворения Шевченко «Тополь» (1839) в переводе Н. В. Гербеля.

[^^^]

[^^^]